

## Счастливая была

Любит старшее поколение обвинять молодых и в непочтительности, и в чёрствости, и в том, что становятся злее, агрессивнее. Молодые при этом ответно жалуются на вечную хмурость, озлобленность и жадность пожилых. Наверное, в чём-то правы и те, и другие. Девочки-школьницы до крови бьются на заднем дворе за право «завлечь» одноклассника, а настоящие, не рекламные приторно-добрые, старушки способны свести с ума придирками и подозрительностью.

Но это только половина правды. Другая её половина, я думаю, в том, что все мы просто устали от сумасшедшего городского ритма, от постоянной беготни, толчеи в магазинах и автобусах, и все в глубине души хотим, чтобы нашёлся кто-то добрый, с кем не нужно было бы воевать за место под солнцем, кому можно было бы довериться без страха быть преданным и высмеянным.

В доме-интернате на Ботанической стариков было не так уж много: кроме дедушек и бабушек, там жили и молодые выпускники детских домов, имевшие инвалидность. Детдомовцев руководство интерната заселяло на второй и особенно третий этажи, а старикам достались левое крыло второго и весь первый.

Я ходила в этот интернат на волонтерских началах. Инициатива происходила от одного неравнодушного священника, и все желающие с прихода по воскресеньям посещали стариков. Подопечных каждый выбирал себе сам. Мы иногда помогали персоналу интерната по мелочи: подстригали бабушкам и дедушкам ногти, меняли бельё, подкармливали конфетами на сорбите. Но сами сотрудники в голос уверяли, что с этими нехитрыми делами они хорошо справляются и сами, а на что им не хватает времени и сил, так это на общение со стариками.

Общаться с ними было не просто и нам: некоторые с подозрением смотрели на людей, которые пришли в интернат просто так, ничего не требуют и даже не вербуют в религию, другие плохо слышали, и приходилось чуть ли не кричать в уши, третьи не совсем хорошо осознавали, кто они и где находятся... Однако постепенно дело пошло на лад.

Я познакомилась с тремя замечательными людьми: пожилым мужчиной из Ангарска, которого

потом забрал домой сын, и самой настоящей влюблённой парой возрастом под семьдесят годов. Они встретились уже здесь, в интернате, уговорили руководство поселить их в одну большую комнату и прожили там вместе примерно полгода. Весной их переселили в другой интернат.

Мне стало вроде бы не к кому ходить, но всё-таки на следующее воскресенье я приехала на Ботаничку снова. Растерянно озираясь в коридоре, машинально взялась за ручку какой-то двери и посмотрела в палату. На дальних койках сидели две чрезвычайно друг на друга похожие старушки, к которым больше всего подошло бы прозвище «божий одуванчик». А на ближней...

Только завидев мою четырёхлетнюю дочку, она попыталась приподняться с кровати и растянула тонкие губы в улыбке:

— Иди ко мне, иди ко мне, внучечка.

Таня, привыкшая к вниманию вообще и бабушек — в частности, тут же подбежала с раскрытой пачкой печенья. Протянула печенье в раскрытую ладонь с узловатыми пальцами.

— Спасибо, внучечка. Какая ты хорошая — я не вру. Честное слово.

Я осторожно подошла к женщине.

— Меня Лена зовут.

— А меня Люда. Баба Люда — вот так ты меня и зови. Угу?

Я кивнула.

— Ну, садись, коли пришла, — пожевав губами и пытливо оглядев меня, она пригласила сесть на край своей железной койки. — Слушай.

Я слушала долго. И в этот раз, и в следующее воскресенье, и в то, которое было потом. Казалось, что баба Люда молчала не то что днями или месяцами — годами. Вставить мне хотя бы пару слов было решительно невозможно. Как тяжёлая глинистая земля долго не может впитать воду, так и баба Люда просто не могла впитать, воспринять даже малейшую частицу меня. Ей пока нужно было выплеснуть всё, что накопилось. Я подстригала ей ногти, расчёсывала волосы или просто сидела и молчала.

Она рассказывала мне об отце, который безумно ждал мальчика и поэтому всё детство называл её «сына», о муже Илье Ананьевиче, который родился раньше неё на двенадцать лет, за что она

добродушно дразнила его «старинушка», о зерно-совхозе и психбольнице (в первом месте трудилась сама баба Люда, во втором — Ананьевич), о своих дочках Анжеле и Ксении.

— Анжелка у меня родилась такая рыжая, кучерявая. Я как увидела её—думаю: вот те девка. А чё я её Анжелка назвала? Потому что был тогда этот фильм... доча... как его?

— «Анжелика, маркиза ангелов»,— догадалась я. — Точно. А характером она у меня была такая... как тебе сказать... Стерва. С детства всё фыркала. Ну зато красивая—ничё не скажу. И я её тоже любила. А Ксения у меня добрая была, ласковая такая...

«Где ж теперь твоя ласковая Ксения, баба Люда?»— поневоле приходило мне на ум.

Но баба Люда, кажется, совсем не думала об этом. Из всех историй, что она рассказывала (в общем-то, у неё всегда была единственная бесконечная история, из которой одно перетекало в другое), становилось ясно, что этот человек прожил счастливую жизнь.

Она рассказывала мне много вещей, которые почти любой назвал бы неприятными, а то и страшными. Отец, который «жуть как любил меня», только однажды обратился к ней «дочка», до самой своей смерти так и видя в своём втором ребёнке вождленного мальчика-наследника. В третьем классе он купил Люсе тёлку Рябинку в качестве живой игрушки, у которой потом десятилетней девчонке пришлось самой принимать роды, а папка пришёл только тогда, когда она, обливаясь потом и слезами, уже полчаса тщетно пыталась вытянуть ноги слишком крупного телёнка. А благоверный Илья Ананьевич, сколько-то немало лет отпахавший санитаром в психушке, за какую-нибудь дурацкую провинность мог взять да и выпороть её солдатским ремнём—да не просто так, а с чувством, толком и обязательными комментариями. Красивая Анжела в своё время выгнала бабу Люду из своего с мужем дома за неугодный характер и пристрастие к бутылке, а ласковая Ксения уехала и с концами пропала...

Но всё это дикое, тёмное, страшное, то и дело всплывая в рассказах бабы Люды, переплавлялось в её сердце и неизменно превращалось в воспоминание любви. Мы часто не можем простить близких людей и разрешить себе любить их просто так, потому что постоянно чего-то ждём от них, от наших отношений, потому что подготовили себе в уме какие-то представления о том, какими должны быть отец, муж, дочь, невестка...

Бабе Люде было уже решительно нечего ждать и нечего представлять. Всё, что было у неё и есть,— это железная койка в десятиметровой палате (в июле её перевезли в двухместную комнатёнку с одним окном), с которой она может привстать, только если кто-нибудь поддержит её за высохшие, посиневшие руки. Поэтому, наверное, она и

может позволить себе роскошь любить, несмотря ни на что.

Если попросить меня вспомнить человека, который больше других способен принять жизнь как она есть, то я назову именно бабу Люду. Даже говоря о каких-то своих ошибках, она не осуждала себя, только говорила:

— Ну что поделаешь, такая уж я бессовестная.

Как я уже писала, через некоторое время она стала видеть меня. И сразу же начала называть «доча».

— Ты—моя доча. Я не вру. Честное слово. А это моя внучка. Правда?

Конечно, формальная правда заключалась в том, что передо мной была полусумасшедшая старуха, обречённая провести остаток своих дней на казённой железной кровати с вонючим матрасом, в убогой комнате с подслеповатой лампочкой, брошенная и забытая. И ещё была я—мамка двоих детей, с висящим за душой банковским долгом, совершенно чужая женщина для обитательницы дома престарелых Прохоровой Людмилы Михайловны, ничем по факту не могущая ей помочь.

Но всё это стало абсолютно не важно. Мы с бабой Людой знали и другое—знали истину, в которой я на самом деле была её дочкой и обе мы были прекрасны.

Потом она стала рассказывать мне уже не только давно былое, но и то, что происходило сейчас. И даже спрашивать меня:

— Ты сама как?

Однажды она встретила меня и как-то странно посмотрела:

— Слушай, доча... А где у тебя муж?

— На Парашютной улице,—ответила я первое, что пришло в голову.

Баба Люда выругалась по матушке.

— А какую холеру он там делает? Чё ко мне не приезжает?

Мне совсем не хотелось рассказывать ей невесёлую и довольно банальную историю своей распавшейся семьи, и я попыталась перевести разговор на другое, но баба Люда так и вцепилась в меня за рукав пальцами.

— Хороший он?

— Да... Хороший...

— Любит тебя?

— Я не знаю... Нет, наверное.

— Как ты не знаешь? Да он живёт с тобой?

— Нет... Давно уже.

— Ёж твою клёш. А чё ты раньше молчала? Я тебе всё про себя, про себя... Вот бессовестная.

Она развернула ко мне лицо и взяла мою руку в свою, вся приготовившись слушать. Но у меня не оказалось совсем никаких слов. Жаловаться не хотелось, ворошить прошлое—тем более. Я просто села внизу у кровати, обняла бабу Люду и прижалась лицом к её руке.

— Знаешь, ты такая красивая,— сказала я, когда наконец поднялась с пола.

— Ну да,— охотно согласилась моя «матушка», кокетливо прилаживая на макушке смолисто-чёрные вихры.— Мне бы вот ещё серёжки вставить—и совсем бы хорошо.

— У тебя же есть серёжки.

— А я ещё хочу. Золотые вставлю—во красotka буду! Доча, честно, я не вру. Тут у нас санитар новый, парнишка молодой,— вот с золотыми серёжками-то я его это... охмурю! Скоро как раз должен прийти.

Я, конечно, понимала, что она шутит:

— Не-ет, бабонька, если молодой и красивый—мне оставить!

Из коридора вдруг послышался сердитый мужской голос:

— Вы что там, с ума сошли?! Я вообще-то медбрат, а не санитар!

Мы с бабой Людой в голос расхохотались.

Как и все мы, за свою жизнь баба Люда наломала немало дров. Бессчётное число раз она обижала свою старшую сестру-очкарика, грубила матери, прогуливала школу, воровала с работы, лгала и хвасталась. Случались у неё и более серьёзные грехи (о которых мне не хочется вспоминать, потому что это всё-таки поверенная мне чужая тайна), но—именно случались. Всё скверное в жизни моей «матушки» всегда казалось мне случайным и наносным, вещами, которые повторяются почти с каждым из нас из поколения в поколение.

Я никогда не говорила ей, что она поступала плохо, хотя бы потому, что она и сама прекрасно это знала. Но при этом, признавая свою «бессовестность», всегда была открыта к Божьему прощению. И всякий раз, когда я вижу её, мне на память приходят строчки из цветаевской «Бабушки»:

Свистят скворцы в скворешнице,  
Весна-то—глянь!—бела...  
Скажу:—Родимый,—грешница!  
Счастливая была!

За всё то время, что мы с бабой Людой были знакомы (чуть больше полугода), я научила её молиться. Она сама однажды попросила меня об этом. Несколько раз мы с ней вместе молились за покойного раба Божьего Илью—его баба Люда вспоминала всё же чаще других своих близких.— Господи, миленький. Господи, помилуй... Пожалуйста. Не оставь.

В такую минуту она была очень сосредоточена. Но в другое время баба Люда редко бывала серьёзной. Часто даже подкалывала меня, как, например, в тот раз, когда я долго не могла отыскать в коридоре выключатель.

— Ну, ты какая-то глупая стала, доча. Надо тебе тут маленько со мной полежать, тут быстро человека в порядок приводят.

Я смеялась, где-то в глубине души осознавая, что и в самом деле когда-нибудь могу оказаться на месте бабы Люды, на этой её железной койке. А могу и не оказаться. Ни то, ни другое не важно. Важно только то, что мы вместе есть.

В последний свой визит я спросила у «матушки», какой гостинец привезти ей в подарок.

— Да что хочешь, доча, лишь бы из твоих рук. Но лучше всего—конфетку. Я ведь сладкое люблю... Ананьевич прятал от меня, ругался: не ешь много! нельзя тебе! А я ведь всё равно ела...— она развела руками и выразительно, с еле заметной улыбкой, посмотрела на меня:— Ну что поделаешь—бессовестная...

Я ездила к ней два раза в месяц от самого начала лета вплоть до зимы, потом заболела на две недели, а после того ещё две недели не приезжала из-за каких-то дел. Когда в конце декабря я появилась на первом этаже интерната и заглянула в знакомую комнату, бабы Люды там не было. На одной койке сидела высохшая старуха с птичьим лицом и задумчиво затягивалась папиросой. Другая кровать была пуста.

Оказалось, что с инсультом бабу Люду привезли в больницу, там она пробыла несколько дней и умерла. Подробностей её ухода мне, конечно, никто не сообщил. В доме престарелых каждые два или три месяца кто-то умирал, и ничего сверхординарного тут не было.

Я не знаю, о чём она думала перед смертью, была ли в трезвой памяти или потеряла рассудок. Конечно, хочется верить, что ушла она спокойно и безболезненно и что за семь положенных суток всё-таки нашлись её родные. А если не нашлись, то когда-нибудь найдутся, придут на её могилку внуки от Анжелы или Ксении.

Вы ж, рёбрышко от рёбрышка,  
Маринушка с Егорушкой,  
Моей землицы горсточку  
Возьмите в узелок.

## Цыганская дочь

Много песен прошло через мою жизнь, много звуков и мелодий волновало меня, пробуждало в душе радостные и печальные воспоминания; много стихов, положенных на музыку, без всяких клипов превращалось в моём уме в яркие, обретающие плоть образы, которые заставляли поверить в то, что песня—это истина, что её герои, которые ищут, творят, любят (про что же ещё слушать песни, как не про любовь?!),—живы и правдивы.

В девять лет я ещё не ведала, кто такие Киплинг, Островский, Михалков и Гузеева. Я только знала, что на праздниках, а иногда и просто в выходные по телевизору показывают кино, в котором мечется и плачет красивая девушка в белом платье, которую мучают разные неприятные особы. И, видно,

чтобы убежать от этих назойливых типов, она садится на корабль и поёт, а вместе с ней поют и танцуют совсем другие, весёлые, бойкие люди в цветастых костюмах:

Мохнатый шмель—на душистый хмель,  
Цапля серая—в камыши.  
А цыганская дочь—за любимым в ночь,  
По родству бродяжьей души.

И милая девушка в белом всплещивает руками, веселится, пляшет, смеётся... А потом её почему-то выгоняют с этого корабля, не разрешают больше радоваться, гонят обратно к угрюмым назойливым людям, из яркой ночи в хмурое утро.

Поклонницей «Жестокого романа» была не только моя мама, но и её подруга, которая обязательно включала пресловутого «Мохнатого шмеля» на своих днях рождения, чтобы танцевать под него с платком на плечах. И однажды я спросила у них обеих:

— Кто такие цыгане?

Мама и её подруга сказали, что цыгане—это люди, которых надо остерегаться, потому что они не работают и воруют. И петь так красиво, как в «Жестоком романсе», давно уже не умеют.

С тех пор прошло много лет, и жизнь занесла меня работать в детский сад. Там мне доверили приглядывать за малышами-двухлетками, собирать с ними пазлы, гулять, играть—то есть работать воспитательницей на ясельной группе, самой младшей из возможных в нынешних садиках. В первую неделю я привыкала к плачу и рёву, стоящему в яслях с семи до десяти утра. С девяти часов детишки понемногу успокаивались, понимали, наверное, что мамы-папы придут ещё не скоро, и начинали заниматься своими делами: катать машины, кидать мячики, рассматривать картонные книжки.

Один из ребятишек, по имени Максим, любил в то время только одну игру—с посудой. Ему нравилось расставлять-переставлять стаканчики на специальной игрушечной кухоньке, складывать в кастрюльку маленькие пластмассовые овощи, «мыть» тарелки в раковине. Я любила наблюдать за ним. У него были яркие, чётко очерченные тонкие губы, широко распахнутые карие глаза с короткими чёрными ресницами и смуглая кожа с нежным румянцем. Из-за слишком выступающих скул и оттопыренных ушей его нельзя было назвать красивым ребёнком, но он подкупал меня своим прямым взглядом и тем, что, в отличие от других детей, говорил постоянно не «дай, дай», а наоборот, «на, на».

— На, на,—повторял Максимка, взмахивая руками, как бабочка крыльями.

— Это он «няня» говорит. Мама то есть,—объяснила мне однажды напарница, пожилая женщина, проработавшая тридцать с лишком лет в яслях.

Мама приходила за Максимкой рано, в пять часов. Она работала младшим воспитателем в другой группе нашего же детского сада. Её звали красиво, как мою маму,—Любовь. Люба притягивала меня своей необычностью. Она ярко красила свои и без того выразительные губы, которые были полнее, чем у сына, мазала веки бирюзовыми тенями, часто надевала блузки и кофты с большим вырезом, носила вещи каких-то диких, кислотных цветов. Но её кричащая внешность странно не соответствовала кроткому взгляду ясных карих глаз, скромности движений и робкой, хотя иногда слегка лукавой, улыбке.

Мне хотелось познакомиться с ней, и я, отдавая вечером ребёнка, стала рассказывать ей о том, что он делал, как себя вёл. Она слушала, иногда благодарила за заботу, и только. Но однажды она задержалась, пришла не в пять, а около семи. В яслях остался один Максим, не считая моей родной дочки, которую я привела из другой группы. С того дня мы и стали общаться.

Нам было легко друг с другом. Люба сразу рассказала, что её воспитали не родители, а бабушка, с которой она живёт и сейчас. Я тоже поведала ей про свою семью.

— А где у тебя муж?—спросила я.

Она несколько секунд смотрела на меня, может быть, пытаясь угадать, зачем я задаю такой вопрос.

— Где-то в Емельяново. А твой?

— Мой где-то в Красноярске.

Люба поглядела на меня вначале с удивлением, граничащим с испугом, а потом в лицо расхохоталась. И я стала смеяться вместе с ней.

— Прости,—сказала она, всё ещё не оправившись от смеха.—Я думала, что одна такая потеряшка.

— Ничего,—успокоила я.

Напарница в яслях неодобрительно смотрела на то, что я болтаю с Любой и слишком часто ласкаю Максима.

— Ребятишек вообще нельзя гладить, тискать. Они же привыкнут. Будут лезть к тебе, и работать нельзя будет, пойми. А к этому я вообще не знаю что тебя тянет. Он же нерусский.

Через несколько дней я отважилась спросить у своей новой приятельницы:

— Люба, слушай, а кто ты? Я имею в виду, по национальности... Не таджичка? Но вроде имя русское...

Она смущённо усмехнулась:

— Да я цыганка.

— Понятно,—сказала я коротко.— А я русская. Вроде бы...

— По тебе видно,—успокоила меня Люба.— Ты точно русская.

Когда моя смена выпадала с утра, мы почти не виделись—только в столовой, когда мне надо было получать кастрюли с едой (нянечки в яслях тогда не было). Но если я работала с обеда до

вечера, то иногда с пяти часов выводила всю свою немногочисленную группу на участок. Туда же выходили гулять Люба с Максимом. Приглядывая вполглаза за четырьмя или шестью ребяташками, мы успевали поболтать, рассказывая друг другу о детстве, о семье, о ребёнке. Так длилось до первых чисел октября.

И вдруг Люба пропала.

Она просто не пришла на работу. Воспитатели на группе звонили ей, но телефон не отвечал. Максимики, понятно, в тот день тоже не было в садике. — Да ведь зарплату только что перечислили, — махала рукой моя многоопытная напарница. — Получила деньги да и пошла гулять. Не переживайте, придёт.

На следующий день была суббота, а в понедельник Люба и вправду вернулась как ни в чём не бывало. На мои вопросы она отвечала нехотя и уклончиво. Я отстала от неё и только узнала, что Люба как-то договорилась с заведующей и задним числом написала заявление на день без содержания.

Приятельствовать мы продолжали. К ноябрю заведующая намекнула, что скоро планирует перевести меня из яслей на какую-то старшую группу. Я надеялась оказаться вместе с Любой, но меня назначили воспитателем к другим детям. Впрочем, Люба вроде бы совсем не расстроилась:

— Хорошо, дорогая, что тебя перевели! Тебя надо к старшим. Ты умная. Посидеть бы нам с тобой где-нибудь после работы, кофе попить...

Я только вздохнула в ответ, потому что и сама хотела бы посидеть с Любой, но денег на кафе у меня не водилось, а вести её домой было нельзя: я жила тогда в съёмной комнате, на подселении. — И я с родными живу, — утешала меня подружка. — Пока тоже к нам нельзя. Ремонт у нас. Бабушка руководит. Но скоро должны закончить, уже обои остались. Придешь к нам. Бабушка вкусно кофе варит.

Сын у Любы всё ещё не разговаривал, так и повторяя только слова «няня» и «всё, всё». Я посоветовала ей сводить к врачу, но она отмахнулась: — Э, заговорит! Так заговорит, что ещё не будешь знать, как остановить.

У неё был долг за садик, о чём знали все — подробный список должников с фамилиями и суммами заведующая разложила по группам. За мной числилось всего несколько сотен, которые я тут же возместила, а за Любой — ровно две тысячи. — Денег нет, — жалобно объясняла она на планёрке.

Завхоз (ворчливая, как все работающие на этой должности, но довольно добродушная женщина) тут же, при всех, одолжила ей пару тысяч. Моя бывшая напарница с яслей скептически хмыкнула: — Ну, завтра вы вашу Любу не увидите...

— Да надоела она, — недовольно прибавила воспитатель с Любиной группы, когда народ уже

наполовину разошёлся по рабочим местам. — То кружки не помоешь после сока. То банки после огурков-помидоров в шкафу оставит. А куда их — нам?! Всё же выкидывать надо... А ещё опаздывает!

Мне было немного обидно от таких слов, и я думала: «Увидите все, обязательно она завтра придёт! И вовремя».

Она и впрямь пришла. Без опозданий. И её действительно увидели все. Не заметить Любу в тот день было трудно. С дальнего конца коридора она торжественно шагала в сияющем синем наряде, серебристый люрексковый блеск которого был не в состоянии спрятать скромный нянечкин фартук. Подол облегачающего трикотажного платья спускался ниже колен.

— Ну, красотка, привет, — сказала я.

— Привет, — радостно отозвалась она. — Как ты думаешь, мне идёт?

Она игриво мотнула хвостом из густых чёрных волос и выжидающе, как ребёнок после того, как рассказал стишок Деду Морозу, посмотрела на меня.

— Красиво, Люба. Очень здорово... Только... На что же ты его купила?

— Мне же вчера Надежда Семёновна дала денег.

— Но она думала, ты заплатишь за садик.

Люба обиженно выпятила вперёд пухлую нижнюю губу:

— И ты так говоришь, как мои воспитатели. Но ведь платье мне тоже нужно! Скоро Новый год.

Я вздохнула.

— Ты говорила, что у вас и еды мало...

— Да, мало... — согласилась Люба, задумчиво облизнув крашенные алой помадой губы. — Вот я и купила кофе и муку. Бабушка будет лепёшки печь.

В садике все возмутились её поступком, и больше всех, разумеется, завхоз, которой было жаль впустую одолженных денег. В последнюю предновогоднюю неделю я не раз слышала, как она ругала «проклятую нерусь» то коридорной нянечке, то вахтёру, то психологу.

В качестве подарка моей дочке Люба принесла кулёчек вкусных карамелек в шоколаде, и мне захотелось тоже сделать для неё что-нибудь хорошее.

— Слушай, Люба, у тебя же остался долг за садик? — спросила я.

— Остался.

— Возьми, пожалуйста, от меня тысячу займы и заплати хоть часть. Отдашь через пару месяцев.

Люба всплеснула руками.

— Ой, спасибо, дорогая! Ой, спасибо!

Мы обнялись.

— Пообещай, что заплатишь долг, — настаивала я.

— Заплачу, заплачу! Вот ты подруга настоящая! С Новым годом тебя! Счастья тебе! Здоровья!

— И тебе, Любочка!

После новогодних каникул она проработала с неделю, а потом пропала.

Все ожидали, что Люба, как осенью, вернётся на следующий день, но она не объявилась ни завтра, ни послезавтра. Телефон, само собой, не отвечал.

Я стала не на шутку переживать. На очередной планёрке заведующая сказала, что собирается заочно уволить Любовь.

— Может быть, с ней что-то случилось? — робко предположила я.

Все вокруг посмотрели на меня с какой-то снисходительной жалостью: мол, неужели не понимаешь?

— Всё понятно, конечно, но... Вдруг действительно что-то случилось? — собрав всю свою смелость, настаивала я. — Давайте узнаем?

— Как узнаем? — спросила заведующая.

— Надо съездить к ней... Я поеду... Адрес же записан в яслях, там, в книжке...

Заведующая неожиданно быстро согласилась: — Давайте съездите к ней, но побыстрее, чтобы мне определиться, увольнять уже её или как.

В яслях я выписала Максимкин домашний адрес и на следующий день вместе с дочкой поехала туда. Оказалось, что жили они от садика довольно далеко. Я ожидала увидеть частный дом, но это была обыкновенная хрущёвская пятиэтажка. Ещё раз взглянув на номер квартиры, я облегчённо выдохнула: получалось, что Любино семейство обитало на первом этаже. Это означало, что нам с дочкой не обязательно было дожидаться, пока кто-нибудь выйдет из подъезда. Достаточно было стукнуть в окно.

Я постучала несколько раз. Наконец тюлевую шторку приоткрыл высокий и худой темноволосый парень.

— Позовите Любу, пожалуйста!

Парень не шевелился.

— Любу! Любу позовите! — я подумала, что парень плохо слышит, и перешла на крик.

Шторка мотнулась обратно, в доме послышались какие-то возгласы, стук, шаги. Через пару минут подъездную дверь открыла моя приятельница. — Это ты?! Это что же, правда ты? — схватив меня за руки, восторженно прошептала она.

— Да я, конечно...

— И доченька твоя. Ай, милые, пойдём...

Когда из тускло освещённого подъезда мы вошли в коридор, я увидела, что смуглое Любино лицо сделалось землисто-зеленоватым и заметно похудело. Плечи тоже утратили полноту, стали острыми, и во всей её фигуре было выражение усталости и нездоровья. Она куталась в какой-то нечистый фланелевый халат с длинными полами. — Болеешь? — спросила я.

Она не ответила, пока мы с дочкой не прошли на кухню. Там на клеёнчатом диванчике сидел довольный Максимка и столовой ложкой поедал сырую сгущёнку из банки.

Люба подвинула моей Тане банку с карамельками и глубоко вздохнула.

— Лена, плохо мне... — она испуганно огляделась, не стоит ли кто-нибудь рядом с дверьми кухни. — Ты только шёпотом говори, ага? Я болею... Слабость такая, тошнит... Прямо сил нет встать. С утра выворачивает. Не знаю, что же это, раньше не было так...

Ошеломлённая догадкой, я вопросительно уставилась на неё:

— А ты случайно...

— Да, да, — она выставила вперёд ладонь, не дав мне договорить. — Не знает никто пока.

— А он?

— Он знает. Сказал, подумает.

О чём именно подумает, я не стала переспрашивать.

Я рассказала Любе, что на работе все, естественно, недовольны и ждут объяснений.

— Заведующая и вовсе хочет тебя уволить. Ты бы хоть позвонила ей. Нельзя же так теряться. Позвони.

Люба вжалась в угол кухни, замотала головой. — Я боюсь. Меня уже столько не было, будут сильно ругать. Сильно, сильно будут ругать...

— Ну что же делать, всё равно надо позвонить, прийти, — пыталась убедить я её.

На глазах у Любы блеснули слёзы.

— И за работу ругать будут, и за это... Бабушка ой-ой как будет ругаться! — вцепившись тонкими пальцами в грязное полотенце, шёпотом повторяла она.

Я вздохнула:

— Ну что ты как маленькая?..

Она совсем расплакалась и кинулась мне на шею:

— Скажет: куда ты мне понарожала? О-о...

Я отважилась спросить её про мужа.

— В Емельяново он... я тебе ведь говорила.

— Так что же, он с тобой не живёт?

— Нет, почему?.. Живёт иногда.

Немного погодя, убедившись, что родные увлечённо смотрят какой-то фильм по телевизору, она стала рассказывать:

— Бабушка не хотела, чтобы я с ним сошлась. Он, знаешь... такими нечестными делами занимается. Ну, незаконными... немного. Одно время он тут жил, у нас. Но долго жить не смог. Он такой горячий, сердится быстро. Кричал. Бабушка тоже сердилась... Но вообще-то он хороший.

Я горько улыбнулась: вот она, фраза, которой каждая женщина готова оправдать мужчину, которого любит.

— Он взял да уехал в Дивногорск. А я тут осталась с Максимкой. Тут бабушка, мама, отчим. Накинулись на меня: как это муж тебя бросил?! Это же позор... Плохая, значит, жена. Бабушка говорит, что я хозяйка плохая...

— Вот ты и поехала его искать?

— Да. А он ни телефон оставил, ничто... Только сам иногда приезжал, когда хотел. Летом был, потом в октябре был. А потом вот, в ноябре, декабре, ни разу и не приехал. Я соскучилась по нему. И поехала его искать... Вот каникулы-то были.

— И нашла? — поневоле удивилась я.

— А то! — с гордостью ответила Любка.

Я поглядела на неё, только сейчас успевая сопоставить все факты.

— Ты, получается, как раз у него была на Новый год?

— Не на сам Новый год, а второго января. А третьего я уже сюда уехала. Чтоб мои не потеряли.

— Мать... — изумлённо покачала я головой. — Ну ты снайпер. В один день... Точное попадание.

Она, похоже, не поняла мою грустную шутку.

В кухню заглянула одетая в чёрное старуха. Она была не очень высокой, но статной, и казалась стройной, несмотря на свои однозначно немолодые годы.

— Бабушка, это подруга моя, Лена, — представила меня Люба. — Мы с ней вместе работаем. Она пришла проведать, как я.

Я поздоровалась.

— А я ей объяснила, что на больничном, что сейчас болею и эту неделю можно не приходить, — затараторила Люба, взглядом показывая, чтобы я молчала и не возражала.

— Так что же ты сидишь? — накинулась на неё старуха. — Доставай колбасу, доставай виногрет! Угости человека!

Люба мгновенно выпрямилась как струна и подлетела к холодильнику.

— Ты проходи туда, в зал, — пригласила меня старуха. — Проходи, проходи. А дети пусть игрушками поиграют.

За считанные минуты в большой комнате собрали и накрыли белой скатертью стол, нарезали варёную колбасу и сало, выложили в огромную хрустальную чашу виногрет, рядом в тарелочке — солёные огурцы. Высокий парень, которого я увидела в окно, переключил телевизор на музыкальный канал. Он смотрел на меня с явным интересом, но мне его молчаливое внимание было скорее неприятно и хотелось, чтобы он либо отошёл от меня, либо сказал хотя бы несколько слов. Но он молча сидел рядом со мной в кресле.

Люба и её мама продолжали кружиться по дому, принести хлеб, посуду, салфетки. В воздухе витала непередаваемая смесь запахов старой мебели, чеснока, пряностей, варящегося в турке кофе и фильмов Эмира Кустурицы.

Наконец все сели за стол.

— Ну, Бог благослови, — торжественно сказала бабушка, и мы начали есть.

Она представила мне по именам Любиных мать и отчима. Оба они на её фоне выглядели какими-то невыразительными. Кивнула на парня:

— Это Андрей.

Некоторое время мы ели молча, а я не могла оторвать глаз от старухи. Трудно было определить, сколько ей лет. Морщинистые руки, пятна на лице и шее говорили о преклонных годах. Но при этом все движения у неё были быстрые, чёрные гладкие волосы поседели только наполовину, а глаза, тёмные, как осенняя ночь, смотрели пристально и строго. От такого взгляда, казалось, невозможно было ни скрыться, ни даже немного уклониться.

Она стала расспрашивать меня, предлагать угощение. После мяса с виногрета Любина мать подала кофе с карамельками и сухарями.

Старуха отпивала медленно, с наслаждением. — Сколько, говоришь, лет твоей дочке? — спросила она.

— Четыре.

Она облокотилась на ручку старого коричневого кресла.

— А у меня две дочки и сын. Но могло быть больше. Я ведь сделала девятнадцать абортюв.

Когда человеку сообщают что-то неожиданное, но хотя бы теоретически укладывающееся в его картину мира, обычно говорят, что он испытывает удивление. Когда же он слышит или видит вещь, которой даже не мог вообразить, то удивления не бывает — бывает ступор оттого, что ты пытаешься хотя бы немного осознать только что воспринятый факт. Я не знаю людей, удивившихся информации о том, что ближайшую к нам звезду Альфа Центавра отделяют от Земли четыре с лишним световых года. Это настолько невероятно, что находится за пределами удивления.

Старуха ещё много рассказывала мне о своём муже, о старшем сыне, который умер, о разных событиях в своей жизни. Меня уже стали утомлять эти рассказы, но слушать её вполуха было навряд ли возможно — здесь, в этом доме, она царствовала и правила.

— А ты почему к нам раньше не приезжала? — довольно строго спросила она, когда мы уже прощались.

Я растерялась.

— Так вы меня не звали.

— Теперь зовём. Приезжай к нам когда захочешь, — одарила она меня монаршей милостью.

С Любой мы договорились, что она придёт в понедельник и вместе со мной, чтобы было не так страшно, явится к заведующей с повинной. Она пришла во вторник. Весь садик смотрел на неё откровенно неприязненно, хотя на сей раз у Любы не было ни блестящего платья, ни привычной красной помады на губах.

— Попроси остаться, — посоветовала я ей.

— Нет, — неожиданно решительно отказалась она. — Подумай сама, как мне тут работать? Все надо мной насмеются. Одна ты нормальная.

Заведующая, разумеется, отчитала Любу. Я по-была с ней некоторое время, пока меня не попросили уйти, да я и сама почувствовала, что теперь им надо поговорить наедине. Сидели они долго, и минут через десять я не выдержала и подбежала послушать. Люба плакала и повторяла одно слово:

— Верну, верну.

Оказалось, что она ещё до Нового года набрала долгов на четырнадцать тысяч. Только завхоз ссудила её при всех. Остальные, жалея, втихомолку, как и я, решили одолжить Любке кто пятьсот рублей, кто тысячу, кто полторы. Никому она долг пока не отдала.

Отрабатывать две недели она отказалась наотрез:

— Пусть заплатят меньше, я туда не приду. Они меня теперь ненавидят. Какую-нибудь гадость сделают. Или ребёнку моему сделают. Уйду так.

Ей выплатили деньги, из которых она вернула большую часть долга.

— Отдашь мне в марте?— попросила я.

— Конечно! Я сейчас устроюсь куда-нибудь, садиков много. И отдам тебе.

Садиков, конечно, всегда было много, и нянечки в них требовались постоянно. Однако у Любки было две существенные детали: уже родившийся и скоро собирающийся родиться ребёнок.

Я выписала для неё несколько номеров детских садов. Она звонила, но ей отказывали, ещё не узнав про беременность: далеко не все руководители были готовы за бесплатно взять трёхлетнее чадо. Я уже предлагала Любе устроиться уборщицей или кассиром в «Красный Яр».

— Ага, а куда Максимку дену?— вопрошала она.

— Дома.

— Бабушка не будет с ним возиться! Она деньги даёт, продукты, а возись, говорит, сама.

— У тебя там ещё брат есть,— вспомнила я.

Люба отвернулась и замолчала.

— Не хочешь про него говорить?— догадалась я.

— Он не совсем того у нас,— смущённо пробормотала Люба.— Заикается ещё... Нельзя с ним.

Она устроилась в садик прямо напротив дома, не читая никаких объявлений.

— Я просто пришла туда и сказала: «Вам нужна няня?» И они меня взяли.

Признаться, я не очень-то поверила подруге, уже понимая, что она может, делая честные глаза, наврать с три короба. Но во второй мой визит бабушка подтвердила, что Люба точно работает и Максимка тоже ходит в новый сад.

— Через две недели аванс, вот я тебе и заплачú,— пообещала Люба.

Про беременность она уже призналась родным. — Я ведь на работу устроилась, деньги буду получать, бабушка поэтому не так уж сильно ругалась,— рассказала мне она.

В марте я напомнила ей про долг, просила заплатить, но Люба сказала, что аванс быстро истратился, и просила подождать ещё две недели до зарплаты.

К началу апреля мне позарез нужна была эта одолженная тысяча. Подходил срок платы за комнату, а денег мне не хватало. Одну тысячу пришлось занять на работе, вторую я ожидала получить назад от Любы.

Когда я в очередной раз позвонила ей, телефон был отключён. На следующий день— тоже. Мне ничего не оставалось, как вместе с дочерью снова поехать к Любе домой.

Помню, что в этот приезд я почему-то посмотрела на всё происходящее другими глазами. Вот сейчас мне не хватает денег, меня, в самом плохом случае, попросят съехать из комнаты, а теперь я еду возвращать свою кровную тысячу, которую у меня выманила хитрая особа, умеющая втираться в доверие.

Когда я стала мыслить в таком ключе, то заметила, что подъезд был грязным и заплёванным и прямо возле двери валялась целая россыпь окурков.

«И главное, я иду к цыганам, к какой-то сумасшедшей бабке, да ещё и тащу за собой ребёнка»,— вдруг ужаснулась я самой себе.

Слово «цыгане», вкупе с потёртыми коврами на стенах и нелепыми красными дорожками на полах, стало вызывать во мне какое-то смутное чувство между брезгливостью и страхом. Крепкий запах кофе казался тошнотворным, голос Любиного отчима, выкрикивающий нерусские слова,— резким и неприятным.

Но когда я увидела Максимку и моя дочь легко пошла к нему навстречу, как к старому знакомому, то эти страх и пренебрежение куда-то улетучились.

Я объяснила старухе, что мне срочно, позарез нужна одолженная тысяча, а Люба не отвечает на телефон и не возвращает мне её.

— Понятно,— отозвался Любин отчим.

Матери не было дома. Я подумала, что это, наверное, не случайно: выходило так, что они с Любой работали, обязательно должны были работать, а отчим и брат сидели дома.

— Она плохо поступила,— сказала старуха.— Она вообще от нас много скрывает. Извини её, пожалуйста.

Бабка протянула мне невесть как появившуюся у неё в руках тысячу.

— Держи, у тебя ребёнок, деньги нужны. А когда она тебе соберётся отдать, ты скажи ей, чтоб вернула бабушке.

Я протянула руку, но почему-то медлила забрать купюру. Долгие секунды, которые прошли между сказанными старухой словами и моим «спасибо», я смотрела на лица Любиных брата и отчима. Отчим казался равнодушным и привычным ко всему и только еле заметно кивнул, заметив мой долгий



(наверное, нерешительный) взгляд. Лицо Андрея, наоборот, выражало нетерпение и радость, как будто не бабушка, а он сам дарственным жестом протягивал мне эту тысячу.

— Бери же, — сказала мне она.

Рука у неё была тёплой, даже горячей, несмотря на тонкую и сухую кожу, покрытую обычными для стариков коричневыми пятнами.

— Бабушка о ней заботилась всегда. А она не всегда платила добром. Скрывает что-то от нас. А так не надо. Бабушка не обманет.

Мне хотелось хотя бы из вежливости как-то поддержать эти слова, рассказать что-нибудь про свою бабушку. Но, увы, она умерла, когда мне было только девять, и особенной благодарности к ней, как и радостных моментов, я не успела испытать.

На дорогу мне дали карамелек и печённую на сковороде лепёшку из пресного теста.

Я ещё раз съездила в этот дом через несколько месяцев, когда уже царило цветущее, полнокровное лето. Старый дворик тонул в пышных облаках тополиного пуха, а в высоком небе, наоборот, облаков не было — оно дышало теплом и сияло яркой голубизной.

Из окна ещё с улицы слышались музыка и смех. Я подумала, что в чью-нибудь честь устраивают праздник, и пожалела, что пришла не в нарядной одежде. Оказалось, гости пришли к Любиному отчиму, и все они собрались в зале, громко разговаривали и смотрели телевизор. В коридоре валялись пакеты с вещами и просто разбросанные тряпки. Люба завела меня в небольшую комнату, где тоже стояли пакеты и коробки.

— Скоро переезжаю, — гордо объявила мне она. — К мужу!

Её нескрываемая радость передавалась мгновенно, как сигнал в витой паре. Мы чему-то смеялись и держали друг друга за руки, будто девчонки-шестиклассницы. Потом Люба показывала мне вещи на будущего ребёнка, свои новые «золотые» серёжки, хвасталась, что сама сшила на машинке несколько пелёнок, говорила, как себя чувствует и взамен слышала мои рассказы о дочке. При этом она и слова не молвила о своём загадочном муже, но мне и не особенно хотелось узнавать о нём. По счастливому Любиному лицу было видно, что она готовится к скорой встрече с кем-то дорогим и близким, и этого мне было вполне достаточно.

В Емельяново родные мужа забрали у неё телефон. Теперь можно было звонить только на его номер и просить, чтобы позвали Любу. По голосу этого человека чувствовалось, что он не особенно рад одалживать телефон для долгих разговоров своей жены со всякими подружками, так что теперь мы перекидывались несколькими фразами.

Я почему-то знала, что Люба родит девочку. Так и вышло: тёмной и ветреной сентябрьской ночью у неё родилась дочь Катя. Об этом мне сказал

какой-то незнакомый человек, когда я однажды позвонила по последнему Любиному номеру. Больше телефон не отвечал, и вестей от моей приятельницы не было слышно до тех пор, пока однажды меня не вызвали на разговор сотрудницы микрозаймовой конторы.

— Любовь Дмитриевна указала ваш номер телефона в нашей анкете и сказала, что вы являетесь её подругой. Это правда?

Я не стала отрекаться от дружбы с Любкой.

— Вы знаете, где она сейчас находится, где работает?

— Пока не работает, в декрете, а живёт в Емельяново.

Больше мне нечего было сообщить, и разговор прекратился.

Через пару недель Люба вдруг позвонила мне и захлёб начала рассказывать о своей дочке, о том, как хорошо жить в частном доме.

— Лето! Красота! Выйдешь на улицу — гуляешь, гуляешь! Скоро свёкры доделают ремонт в комнате, так я тебя приглашу. Приедешь в свой отпуск с дочкой, поживёте у нас! Кормить вас буду — сметаной буду кормить, лепёшками, кофе поить! Теперь я кофе научилась варить не хуже бабушки!

Я порадовалась, что у неё всё так хорошо устроилось, и решила, что самое время напомнить про долг.

— А много ты в микрозайме должна? Мне тут звонили и спрашивали о тебе. Когда сможешь отдать? — спросила я по возможности спокойнее. — Звонили? — всполошилась Люба. — Что ты им сказала?

— Да ничего. Адреса твоего я всё равно не знаю. Только и сказала, что живёшь в Емельяново. Что в декрете.

Она тихо, но грубо выругалась.

— Ну зачем ты это сказала? Зачем, а?

Мне стало немного обидно. Ещё никогда я не слышала от неё грязных слов, тем более в свой адрес.

— А что я сказала такого? Всего-то — где живёшь. Всё равно ведь этот долг отдавать, раз уж взяла!

— Отдава-ать, отдава-ать... — презрительно зашептала она. — Может, я и не хотела отдавать. Не всякому надо отдавать! А это — мошенники, они и так перебьются! А нам были деньги нужны. Очень нужны!

— Долги отдавать всегда надо, — упрямо повторила я, всё ещё обиженная резким тоном.

— Правильная какая! — бросила мне Любка. — Ты уж, будь добра, больше ничего про меня не говори!

Я вдруг поняла, что она обиделась, пожалуй, не меньше моего, и пообещала:

— Не скажу, больше ничего не скажу им. Ты только признайся: много взяла?

— Немного.

— Ну сколько? Пять?

— Может, и пять, — неопределённо ответила Люба. — Ладно, давай, пока. Созвонимся как-нибудь по этому номеру.

Больше она не звонила. Ни с этого номера, ни с другого.

Андрей нашёл меня во «ВКонтакте», попросился в «друзья» и ставил «сердечки» на моих фотографиях. Мы ничего не писали друг другу, и через полгода я удалила его.

В этой же сети я нашла и Любу, поздравляла её с Новым годом и днём рождения, но она долго

ничего не отвечала. Я терпеливо ждала, зная, что в её суматошной жизни может ещё оказаться и так, что и страница на самом деле не её или поделена с кем-нибудь другим.

Наконец она отозвалась, поинтересовалась, как живу я.

«А у меня всё хорошо», — написала Люба.

И кому-кому, а ей нельзя было не поверить — ей, которая понимала жизнь только как праздник и научила меня тому, что даже на последние две тысячи можно купить платье.